

Василий Розанов

Суворин и Катков

В судьбах русской журналистики XIX века сыграли исключительную роль Катков и Суворин. Они не имели между собой ничего общего. И так, через контраст друг другу, они отсвечивают особенно ярко во взаимном сопоставлении.

Катков создал государственную печать в России и был руководителем газеты, которая, стоя и держась совершенно независимо от правительства, говорила от лица русского правительства в его идеале, в его умопостигаемом представлении. Министры менялись, министры чередовались. Наконец, министров было всегда несколько, и они находились скорее в соперничестве между собою, нежели в единении и согласии. Уже по этому одному они оттеняли "государственное служение" личным элементом; наконец, оттеняли это служение тем, что можно назвать "чиновничьим бытовым элементом", своеобразным в каждом министерстве, и, наконец, последнее и самое печальное - сановным и чиновничьим карьеризмом. Где начинается "лицо служилое" и где начинается "государственная служба" - это не всегда было ясно самим чиновникам, самим сановникам и окружающему люду. В силу этих сложившихся обстоятельств "русское правительство" настолько же сколачивало и единило Россию, насколько ее расхищало и растрепывало. Достаточно вспомнить министерство путей сообщения и эпоху железнодорожных концессий, достаточно вспомнить хроническое "соперничество ведомств", конкуренцию "нашивок на вицмундире", чтобы наполнить конкретным содержанием ту общую мысль, о которой я говорю. Правительство "было", и его "не было". Были "веяния" были "направления", были "течения". Программы же не было, - иначе как случайной и временной. И хуже опаснее всего было то, что власть была в сущности, "расхищена" и каждый ковал свое личное благополучие, ковал торопливо и спешно, из того кусочка "власти", который временно папал в его обладание. Катков жил вне Петербурга, не у "дел", вдали, в Москве. И он как бы поставил под московскую цензуру эту петербургскую власть, эти "петербургские должности", не исполняющие или худо исполняющие "свою должность". Критерием же и руководящим в критике принципом было то историческое дело, которое Москва сделала для России. Дело это - единство и величие России. Ну, - и самогласность Руси: без этого такие железные дела не делаются. Хозяин "крутенок", да зато - "порядок" есть". У "слабого" же, у "богомольного", у благодушного хозяина - "дела шатаются", и, наконец, все "разваливается", рушится, обращается в ничто.

Катков не мог бы вырасти и сложиться в Петербурге; Петербург разбил бы его на мелочи. Только в Москве, вдали от средоточия "текущих дел", - от судов и пересудов о мелочах этих дел, вблизи Кремля и московских соборов,

могла отлиться эта монументальная фигура, цельная, единая, ни разу не пошатнувшаяся, никогда не задрожавшая. В Петербурге, и именно во "властных сферах", боялись Каткова. Чего боялись? Боялись в себе недостойного, малого служения России, боялись в себе эгоизма, "своей корысти". И - того, что все эти слабости никогда не будут укрыты от Каткова, от его громадного ума, зоркого глаза, разящего слова. На Страстном бульваре, в Москве, была установлена как бы "инспекция всероссийской службы", и этой инспекции все боялись, естественно, все ее смущались. И - ненавидели, клеветали на нее.

Между тем Катков был просто отставной профессор философии и журналист. Около него работали еще два профессора - Павел Иванович Леонтьев, классик-латинист, и профессор физики Н. Любимов. В кабинете этих трех лиц, соединенных полным единством, любовью, доверием и уважением друг к другу, задумывались "реформы" России, ограничивались другие реформы; задумывались вообще ну" и "тпру" России.

Все опиралось на "золотое перо" Каткова. В этом пере лежала сущность, "арка" движения. Без него - ничего. Без него все трое - просто отставные профессора. В чем же лежала сущность этого пера? Нельзя сказать, чтобы Катков был гениален, но перо его было воистину гениально. "Перо" Каткова было больше Каткова и умнее Каткова. Он мог в лучшую минуту сказать единственное слово, - слово, которое в напряжении, силе и красоте своей уже было фактом, то есть моментальной неодолимо родило из себя факты и вереницы фактов. Катков - иногда, изредка - говорил как бы "указами": его слово "указывало" и "приказывало". "Оставалось переписать... - и часто министры, подавленные словом его, "переписывали" его передовицы в министерских распоряжениях и т.д.

Что-то царственное; и Катков был истинный царь слова. Если бы в уровень с ним стоял ум его - он был бы великий человек. Но этого не было. Ум, зоркость, дальновидность Каткова - была гораздо слабее его слова. Он говорил громами довольно обыкновенные мысли. Сдова его хватало до Лондона, Берлина, Парижа, Нью-Йорка; мысли его хватало на Московский уезд, ну, на Петербург; да и в Петербурге, собственно, хватало на министерские департаменты и, преимущественно, на министерство на- Катков не мог бы родного просвещения...

Катков был человек "назад", а не "вперед". Это был человек собственно Александровской эпохи, Николаевской эпохи, ну - краешком Екатерининской эпохи. Вот когда бы он сыграл роль, - плечом к плечу около Карамзина, пожалуй - Державина, около Потемкина. Сам он был слишком чист, не испорчен и элементарен для своего времени. А время было сложное, лукавое и запутанное.

Замечательно, что в Каткове, как и в друзьях его, не было индивидуальности. Катков - фигура, а не лицо. В нем не было чего-то "характерного" - "изюминки", по выражению Толстого; той "изюминки", которую мы все любим и ради которой все прощаем человеку. Ему повиновались, но "со скрежетом зубов". Его никто не любил. Поразительно,

почти великий человек -он не оставил памяти. Его не хотят помнить. Ужасно!

Если поставить около Каткова Суворина - то это "совсем мало". Так кажется. Что такое "Маленькие письма" около передовиц его? Флейта около пушки. Да, но флейта играет и ее слушают, а пушка выстрелила, и больше слушать нечего. Суворин -писал и писал, издавал и издавал, трудился, копался; трудился, смеялся, основал театр; ходил в театр; любил театр; даже актрис любил - такое легкомыслие. Суворин около Каткова вообще кажется легкомысленным. Но не торопитесь судить. Вспомните. После Каткова вообще ничего не осталось, как после пушечного выстрела, которого "теперь нет". Суворина живо помнят сейчас, многие любят его; его "Маленькую библиотеку" до их пор читают во множестве - вообще его "маленькие сосцы" сосут и до сих пор в великом множестве русские люди. Катков "прошел". Суворин "вовсе не прошел". "Маленькие письма" и "Маленькая библиотека"... Характерно, что это повторилось в названии, в заголовке, в теме. "Мы будем работать в мелочах, в подробностях, а там - что Бог пошлет". Как ни странно сказать, Суворин при своем, сравнительно с Катковым, ограниченном образовании, "маленьком образовании", был природным умом богаче, сложнее и утонченнее Каткова. Он был его впечатлительнее, зорче, дальновиднее и сообразительнее. Нельзя не сказать, что он имел право и власть иногда подсмеиваться над Катковым. "Гром прогремит, а человек останется". "Мужик" во всяком случае останется, а Суворин был сыном мужика, вышедшего в офицеры, тогда как Катков был из дворян. И "мужик" пережил "дворянина".

Нельзя было сказать, где же кончается талантливость Суворина: до такой степени, дробясь и дробясь, она уходила в бесконечность, в сложность. "И актрису люблю". Все "люблю", что есть русское, талантливое, сочное, яркое, успешное, деятельное, энергичное. И около него начало копиться все это. Он был "большой хозяин", Катков (по структуре духа) был скупой хозяин. У Суворина - денег много, детей много, магазинов много, изданий множество. Везде и все "Суворин". Если не у "Суворина" печататься, то как же получить известность". И тысячею своих талантов, на которые уже как-то сама ползла "удача", он сделал то, что "публичность" в России, "занятие собою общего внимания" слилось с его газетою, с его знаменитым "Новым временем". "Легкомысленная газета". Да, но все читают. Печататься у Каткова значило "лечь под пушку и быть убитым", печататься у Суворина значило после 3-4-х статей стать всероссийской известностью. Все потянуло к Суворину, Суворин посмеивался. "И денег много, и славы много. Лафа".

И, в сущности, по сердцевинному пафосу, они были - единое. Любовь Каткова к России высилась, как бесплодная голая скала в пустыне; у Суворина было все равниннее и ниже, - но распустилось как лес, как травы, как поля. У него не так ярко сияло, но было плодотворнее-. Однако нельзя не заметить, что, пожалуй, Суворин любил Россию еще пуще, еще страстнее и многообразнее, а главное - он любил Россию как-то подвижнее и живее, нежели Катков. Тот любил

более память России, память Москвы, этот любил будущность России во всем его неиссякаемом и неуловимом содержании; в содержании, "какое Бог пошлет". У Суворина было гораздо менее "я", чем у Каткова, но у него было гораздо более "надежды на Бога".

У нас был патриотизм риторический, одописный - в XVIII веке; был патриотизм официальный, правительственный - в Николаевские времена, Катков дал нам вспомнить патриотизм величаво-исторический; наконец, славянофилы дали нам патриотизм мистический, мессианский, внутренний. Но не было у нас патриотизма дневного, делового, практического; "ежедневного" и до известной степени "журнального". В лучших случаях у нас была греза об отечестве и ода отечеству, но работы для отечества - не было. Суворин это-то пустое место и занял, сразу поняв и оценив, что это - самое важное место, самое хлебное место, самое-исторически-значительное. И для выполнения этой роли не могло быть лучшего положения, как положение журналиста! Что такое журналист? Ничего и все. Он "ничего" по силе, по власти: но он всякой власти и силе указывает, советует, содействует ей, ее оспаривает и ее, наконец, даже обличает! Положение универсальное, положение возбуждательное, колющее и ласкающее. Газета - то же, что шпоры для коня. Сами они не "едут", но могут заставить коня скакать: и "всадник", отечество, общество - понесется.

Суворин осмотрелся. Все наши газеты, в сущности вся наша журналистика спокон века была идейная и кружковая, была спорчивая, полемическая, но чисто воздушным способом полемики. России никто не выражал и не искал выразить: всевыражали идеи "нашего кружка", "кружка Белинского в "Отечественных Записках 40-х и 50-х годов, "кружка Щедрина - Некрасова- Михайловского" в том же журнале 70-х годов, "кружка Чернышевского и Добролюбова" в "Современнике", "кружка Короленки и Михайловского" в "Русском Богатстве", "кружка Стасюлевича, Спасовича, Слонимского, Утиных, Пыпина" - в "Вестнике Европы". Если спросишь себя, что же это были за знаменитые "кружки", то увидишь, всмотревшись ближе, что это были кружки людей приблизительно одной школы, одного возраста, и, самое главное, - приблизительно одного "круга чтения", как выразительно назвал Толстой чтение из любимых авторов, любимых мест. Книга - вот что соединяло! Россия решительно много и решительно ничем в себе ни соединяла! Через это вся литература была собственно словесная, теоретическая. И, странным образом, "русского", кроме татанта и этики, в этой литературе ничего не было! Все мысли, все сердце, вся душа были "социалистические", "марксистские", англоманские, германофильские, полонофильские, космополитические. Потому что и основные-то книги русского "Круга чтения" всегда были не русские, а переводные или "в оригинале" иностранные. Хоть что-нибудь в этом отношении начало делаться с начала 2-й половины XIX века и даже позже - с 70-х, с 80-х годов, но, в сущности, и до сих пор делается очень мало. Следовало бы собрать статистику русской переводной и русской оригинальной книжности: результаты оказались бы, вероятно, отчаянными! Весь университет, вся

гимназия живет или питается иностранными учебниками, "руководствами", "обозрениями", "пособиями" Училась Россия и продолжает учиться по "шпаргалке" и "подстрочнику".

Все это увидел зоркий Суворин и кинулся спешно занять "пустое место". И хлебно, и славно. А главное - так важно и значительно. Не этот-то лучший и главный его шаг, поистине - лучшая его биографическая слава, и была причиной бесконечного против него журнального и газетного озлобления? Но мудрый журналист верно, конечно, разгадал, что "Россия будет за него". Россия и спокойный русский читатель понял журналиста и оценил газеты, где представительствовавшая Россия и русское дело, а не марксизм и марксистские успехи в Германии и России, где говорилось о пользах и нуждах России, а не о "пролетариате в Саксонии" и "партийном съезде в Марбурге левых групп", - и прочие излюбленные темы. Суворин - да будет позволено дерзкое слово - отпихнул ногою "ту ленивую подушку, на которой дремала голова российского Обломова, видящая третий сон о счастье человечества"; и все Обломовы накинулись на него с невероятной яростью за то, что он именно "ногою" смутил их блаженный сон. "Почему он не марксист или не антимарксист?" - "Почему он не любит стихов Верхарна и Поля Варлона?" - "Где следы его увлечения Шопенгауэром сперва и Ницше потом?" Вообще, "почему он не волнуется нашим кругом чтения?"

Суворин отвернулся и забыл самый вопрос. Просто: он был русский ясный и деятельный человек. Ни с Обломовым, ни с Добчинским ему было "не по дороге". Чернышевский и его племянничек Пыпин? Суворин просто их не принял "во внимание" - предпочитал лучше заниматься актрисами Малого театра, нежели этой беллетристикой.

Но он напечатал первый "Полное собрание сочинений Достоевского" в 1882 году, в лучшем до сих пор издании, с биографией его, с воспоминаниями о нем, с письмами его. Он дал, в день 50-летия со смерти поэта, - рублевого Пушкина! По гривеннику за том, довольно значительный, в прекрасной печати, в переплете! Это значило, по тем временам, дать почти даром Пушкина! Он дал его всей России, напечатав в огромном количестве экземпляров, и не взял в этом издании ни рубля себе в карман (я расспрашивал - о подробностях и о денежной стороне издания - его сына). И за это добро, за это просветительное добро всей России, всякому русскому мальчику, всякому русскому школьнику, наша нравственно-малограмотная Академия Наук сорвала с него что-то около семи или десяти тысяч рублей, потребовав купить целиком и разом все ее дорогое издание в редакции Петра Морозова, - за то, что в свое маленькое издание Суворин взял несколько каких-то "вариантов" из знаменитого "ученого" издания, для большой публики и массового читателя; конечно, совершенно незаметных, неважных и ненужных (ибо Пушкин и без "вариантов" писал хорошо!).

Все накинулись на Суворина, в сущности, за отсутствие у него этого кружкового эгоизма; за то, в сущности, что он служил России, а не "снам Веры Павловны" (забытая теперь героиня забытого романа Чернышевского - "Что делать")... Это-то именно сорвало с уст окружающей печати: "Суворин

не имеет убеждений", "Суворин служит тому, чему велят ему служить", его газета есть газета "Чего изволите". Хотя никто решительно не мог его своротить с пути служения именно России, ее чести, славе и достоинству; главное - ее пользам и нуждам.

На страницах "Нового времени" разрабатывались и проводились, проводились и толкались вперед все реальные интересы России. Это есть главная работа газеты, сущность ее за сорок лет существования.

Мало-помалу она сосредоточила вокруг себя весь практический, деловой патриотизм. Газету полюбили вопреки всему, всем крикам, всей травле остального газетного мира. Суворин основательно посмеивался в ответ этому миру, хорошо видя, что каждый бы занял его место, но уже было поздно, потому что теперь "место было занято". Этот "выбор места", "выбор газетного положения" был главной его исторической заслугой. Говорят о его чуткости. Но она была вовсе не в мелочах, не в частностях "чуткости", на которые указывают, а в самом главном и важном: в широком охвате глазом "всей панорамы" текущего положения вещей, среди которого он схватил себе "главный пункт", "лучшую ситуацию".

И около него стали множиться практические патриоты, люди дела, а не фразы, люди не "флага", выкрика и программы, а инженерной, долгой и трудной работы для государства Российского, для всего нашего драгоценного Отечества. Одной из важнейших его услуг перед Отечеством было то, что он быстро и верно оценил особые и исключительные политические дарования, "общий дух" и золотое перо Меньшикова. При неудаче, Меньшиков мог бы вечно прозябать на розовых страницах наивных "Книжек Недели" Гайд Гайде-бурова: призванный в "Новое время", он быстро, почти моментально развернулся в громадный государственный ум, зрелый, спокойный, неутомимый, стойкий, "не взирающий ни на что", кроме Отечества и его реальных нужд, и подающий советы, решения, "входы" и "выходы" от А до У. Меньшиков, в сущности, очень удачно, менее поэтически и более трезво, заменил самого Суворина в газете: и уже теперь за ним тянется вереница заслуг, чисто государственных. Напомним о неустанных его (притом его одного во всей печати) напоминаниях о необходимости множить артиллерию, множить пулеметы; о напоминаниях о нужде в подводном флоте. И множество его "словечек", которые, как формула, сразу обнимали умы всей России ("октябристы суть плохие кадеты", "кадеты суть русские младо-турки".) И проч.

Вечная память прекрасному старцу. Имя его никогда не умрет в истории русской журналистики, - истории вообще русского книгопечатного дела.